

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

ISSN 0131-6044
9 770131 604002

РОМАН №7 ГАЗЕТА

Александр Леонидов / **Апологет**





ФИЛИППОВ Александр Леонидович (Александр Леонидов)

Родился в Уфе в 1974 году в семье инженера-конструктора Л. П. Филиппова и преподавателя Медуниверситета Г. В. Филипповой. В 1981 году поступил, а в 1991 году окончил среднюю школу и в тот же год поступил на исторический факультет Башкирского государственного университета. Истфак БГУ закончил в 1996 году.

Его журналистская и литературная практика началась в республиканской газете «Истоки» в 1994 году. Здесь была опубликована его первая повесть «Объятия Богомола», навеянная его университетской профильной кафедрой Истории Древнего Мира.

Автор восьми книг, нескольких сотен статей, очерков, интервью. С 1999 по 2002 год — корреспондент газеты «Известия». С 2005 года — редактор газеты «Предприниматель Башкортостана».

Член Союза писателей России и Башкортостана, с 1998 года член Союза журналистов России. Главный консультант отдела обеспечения деятельности Государственного собрания — Курултая (регионального парламента) Республики Башкортостан. Член редколлегии, постоянный автор и колумнист многопрофильного издания «День Литературы» (Москва).



ТРИСТА ПОЭТОВ

в альманахе «ДЕНЬ ПОЭЗИИ-XXI ВЕК»

«Искусство должно потрясать» — говорил выдающийся музыкант XX века, всемирно-известный дирижер Евгений Мравинский.

Не знаю кого как — меня в поэзии всегда потрясает и безумно радует новизна. Новые тропы, новая художественная выразительность, новые ассоциации... Именно эти «жемчуга» я всегда ищу в стихах. Именно о них — богатой россыпью присутствующих в недавно вышедшем в свет альманахе «ДЕНЬ ПОЭЗИИ — XXI ВЕК. 2018/19» — я и хочу сказать.

Поэты — странные ребята. Видят и слышат то — чего нет, чего для обывателя быть не может... Не может, пока поэт не скажет, что может... Пока не назовет своим чудным словом еще названное. Пока не вдохнет нового смысла в старую вещь.

Не все понимают, что поэт — это исследователь и первооткрыватель жизни. В этом суть его профессиональной, поэтической деятельности. Кто-то скажет: что еще открывать, всё давно открыто. Нет, не открыто. Пока человек будет давать имена еще не названному, мир будет открываться...

В альманахе 2018/19 опубликовано более 300 авторов. 535 страниц — не-



бывалый объем издания. Тем более интересно найти в нём новое.

Вера Грибникова (Тверь) в стихотворении «Встреча» мечтает: «И хочу я быть одетой / Лишь в объятия твои...» Одежда из объятий, наверное, самая желанная. Но тема на этом не заканчивается... Автор удивляет еще раз: «...на

वेशалке рубашка / Обнимает сарафан». Оказывается, обниматься могут не только влюбленные, но и их одежды.

Недавно ушедшему от нас московскому поэту Валерию Дудареву открылась истина про снег: «...Мы всё сметем! Всё раздербаним мы! / Но снег пойдет, и что-то сохранится». Снег, как хранитель чего-то важного в нашей жизни — новый в русской поэзии, блестящий образ.

Московский поэт Максим Замшев порадовал такими словами: «Женский взгляд споткнулся и упал, / так и не добравшись до мужского». Почему взгляд споткнулся? Да потому что нерешительный, сомневающийся, слабый. Задумался о чем-то другом...

Удивительна сильна связь неба и земли в стихах поэтессы из Саратова Светланы Кековой: «Небо вечером в звездном инее, / спит Россия в туманной мгле... / Расцветают, как звезды синие, / незабудки по всей земле...» Почему раньше никто не сказал про «звездный иней» и звезды незабудок?

Московский поэт Александр Климов-Южин увидел из своего окна «как рыбы на призоре, ныряют дни и вспять уносит их волна...». Дни ныряют, как рыбы! Потрясающе!

Окончание см. на 3 стр. обложки.



Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

Главный редактор

Юрий Козлов

Редакционная

коллегия:

Дмитрий Белюкин

Юрий Бондарев

Семен Борзунов

Алексей Варламов

Анатолий Заболоцкий

Владимир Личутин

Юрий Поляков

Ответственный

редактор

Елена Русакова

Права

на использование

товарного знака

«Роман-газета»

принадлежат

ООО «Роман-газета»

© ООО «Роман-газета», 2020

Все права защищены

Подписаться

на журнал «Роман-газета»

можно в отделениях связи

и через Интернет:

roman-gazeta-1927@yandex.ru

Подписные

индексы издания:

в каталоге агентства

«Роспечать»

70782 на полугодие,

71752 на год;

в объединенном

каталоге

«Пресса России»

38915 на полугодие;

в электронном каталоге

«Почта России»

П1526 на полугодие

Точка зрения автора может
не совпадать с позицией
редакции

2020 №7 /1852/ Основана в 1927 г.

Александр Леонидов

Апологет

Роман

*...знаю дела твои, и труд твой, и терпение твоё,
и то, что ты не можешь сносить развратных,
и испытал тех, которые называют себя апостолами,
а они не таковы, и нашел, что они лжецы...*

Апокалипсис св. Ап. Иоанна Богослова, 2:2.

ЧАСТЬ I. ОХОТА НА РЕПТИЛИЮ

1

Молодой, но уже усатый и известный кинорежиссёр, сын известного на весь СССР поэта, Михаил Сергеевич Нахалков как-то раз во глуби 70-х решил снимать фильм на революционную тематику. Фильм был задуман непростой, как и всё у Нахалкова: с подвывертом. Мол, и у тех своя правда, и у этих, а жалко всех... Такое кино расчётливый Нахалков думал продать (не за деньги, конечно, в более возвышенном смысле) и дряхлеющей КПСС, и фрондирующей кухонной интеллигенции, и международному Каннскому фестивалю. Мол, всем сестрам по серьгам, не будь я Нахалковым-младшим!

В основу незамысловатого сюжета появившиеся как раз в те годы у мэтров «литературные негры» положили историю провинциального городка: там белые перед отступлением перебили собственных раненых в госпитале. А потом, подобная булавке в куске мяса для голодной собаки, умно-опиумная денкинская пропаганда свалила всё это на «красных извергов». Некоторые несознательные персонажи, символизировавшие, по «глубоко-психологическому» замыслу Нахалкова, «мятущуюся интеллигенцию», сперва возмутились «красному террору», шарахнулись в сторону врагов революции. Но потом, осознав и переосмыслив, — всё же вернулись блудными сынами в объятия большевистских тёртых кожанок...

Кое-кто из партбоссов, курировавших киноискусство в стране заходящих Советов, — человек, гладко выбритый, но с колючей щетиной взгляда, — посоветовал Нахалкову побеседовать с единственным выжившим в тех событиях, стареньким профессором Второго медицинского института, доктором и по профессии, и по научной степени, Леоном Артушевичем Глыбяном. И это при том, что был сей Мафу-сайд в момент описуемой-неописуемой бойни ребёнком пяти лет...

Нахалков, конечно, понимал, что толком профессор ничего рассказать не сможет. И что сам план советовать с таким «свидетелем» — глупость. Это как если бы у Нахалкова стали бы выясняться обстоятельства его собственных родов, уповая на крепость новорожденной памяти...

Но, уважая начальство, Михаил Сергеевич решил всё же съездить к старику. Не пешком же! Машина киностудии с казённым бензином, да и не считали бензин за траты в советское-то времечко... В общем, созвонился, поприсился и поехал.

А то вдруг спросят, играя голосом «сверху вниз»: «Был?» И придётся либо врать, либо неисполнительность являть. А так на руководящее «Был?» последует ясноглазое верноподданническое «Был!»...

* * *

Сам старикан-профессор Нахалкову очень понравился. Ведь, как ни крути, режиссёр был не только титулованным отпрыском знатной фамилии, но и талантливым человеком. А у таких — нюх на себе подобных, на основательных людей с внутренней «изюминкой». Глыбян сразу же подкупил режиссёра и ясностью ума, и хорошей памятью, и глубоким проникновением в тему, невольным участником которой в младенчестве оказался.

Теперь, в тихих и уютных 70-х, он проживал в великолепной «сталинке»: Нахалков, проходя через широкий холл, бегло насчитал три комнаты. Но могло быть и больше. И окна высоки, арочного типа, а одно — так и вовсе выступало архитектурным эркером-башенкой на улицу...

Радовали глаз Михаилу и лепнина, и широкие потолочные карнизы, и паркет под красными, правда, изрядно потёртыми коврами. Приветливо раскрывались перед ним высокие белые межкомнатные двери с резными наличниками. И они стильно, как и положено классике аристократического жанра, — контрастировали с массивной, слоновье-неуклюжей мебелью под темный орех и дуб. На кухне, где, дразня издали вкусными ароматами, гостя ждало угощение, Нахалков глазом антиквара-любителя отметил и оценил и старинный буфет с резными «коронами», с застеклёнными изящными дверцами, и, кажется, трофейные, немецкие или польские, высокие напольные часы.

Полкухоньки занимал гостеприимно-большой круглый обеденный стол, вокруг которого топорщились высокими ажурными, готическими спинками старые, обитые уже потёртой кожей, венские стулья на резных «лапах».

На белой скатерти Нахалкова располагающе поджидал красивый фарфор, хрустальные графин, кувшин с морсом и салатницы, а между ними — потемневшее от времени, тяжёлое даже на взгляд, столовое серебро. Шторы у Глыбянов забирали в пучки на подхватах, и повсюду улыбались гостю наивные советские фарфоровые статуэтки, слоники и узбечки, черно-белые фотографии.

Словом, Нахалков попал в свою среду, где родился и вырос, в свою тарелку — когда доктор Левон накладывал крабовую закуску в тарелку перед ним...

Однако чем дальше, тем больше в этой беседе за столом, по-кавказски пышно, Нахалков впадал в то состояние, которое диссиденты 70-х напыщенно и вычурно называли «когнитивным диссонансом»...

* * *

— Понимаете, я как бы расколот... — сознался старый корифей медицины. — С одной стороны, я коммунист и целиком на вашей стороне. Но я же вижу, что вы снимаете плоскую агитку: хорошие красные и изверги-белые... Может быть, так и нужно, чтобы люди пошли за партией! Сложная изломанная правда жизни может оказаться им непонятной... А я хотел бы, чтобы люди пошли за красным знаменем!

Он поднял рюмку особой, «фирменной» настоечки, топазовой на просвет, крепкой и душистой, сказал несколько банальных слов тоста про встречу. А потом свернул на прежнюю тему:

— Но вот что меня мучает, Михаил Сергеевич... Если за нашим красным знаменем пойдут люди безмозглые, ни черта не понявшие в жизни, — в грядущем они могут уронить и себя и дело с обрыва, как стадо свиней... Чёрно-белая агитка хороша тем, что понятна. Но плоха тем, что обманчива.

И профессор со значением постучал по столешнице свёрнутым в трубочку киносценарием.

— Какова же ваша версия событий? — обиженно поинтересовался режиссёр Нахалков, пуская кольца сигаретного дыма из-под пышных усов.

Его обижало подозрение старого доктора, что он, потомственный советский интеллигент, облаканный властью и славой, снимает всего лишь примитивную пропаганду. Сам-то Нахалков был уверен про себя, что хочет снять глубокую и неоднозначную картину для Каннского фестиваля, именно потому и взялся вскрывать тёмную братскую могилу этой жуткой истории, единственный свидетель которой — угощавший его армянской долмой профессор мединститута Глыбян...

Старый советский армянин, гордость детдома, был чертовски обаятелен: и со своим особым тембром голоса, и с кавказскими, не выцветшими даже от старости, выпукло-выразительными глазами. И ещё с этим своим круглым столом, изобилием закусок, с этим хрустальной шишкой венчанным графинчиком настойки «от супруги», в обычные дни, по его словам, принимаемой им по столовой ложке «как лекарство»... Ибо семейный бальзам! Он был уютен своими коврами, и напольными часами, музыкально отбивавшими время то тихо-бронзовым токованием, то громко-курантным механизмом...

Всё так — но какое отношение имеет это скромное обаяние пенсионера к большому кино? Зачем Мике Нахалкову критика от дилетанта? Сюда, в гости к этому вздорному эскулапу мэтр советского экрана приехал не советоваться по поводу сюжета, а просто показать уже готовый киносценарий...

И какова благодарность? Занудный старик, который разбирается в кино, как хрюшка в апельсинах, пытается доказать, что всё случилось не так. Откуда ему знать, как там стало, если ему было тогда пять лет?

— Люди должны понимать, как устроена жизнь! — качал Глыбян своей опрятно-стриженой, лунно-белой головой. — Когда человек делает свой

выбор на основании агиток — он меняет его с каждой новой агиткой... А человека, который понял жизнь — уже никто и ничто не изменит! Но я не знаю, как современной заласканной молодёжи подать ту правду, которая лично меня сделала коммунистом...

— Что вы имеете в виду? — изломил бровь капризный Нахалков. Между прочим (с обидой!) — он тоже очень интересовался правдой жизни — в перерывах между получением престижных премий.

— Понимаете... — Старик сжал переносицу, пытаясь отогнать давние жуткие картины. — Если мы говорим о чудовишных нравах капиталистического inferно и буржуазной, так называемой, «демократии», то мы должны понимать очень трудно дающийся благополучным недорослям момент... Не только те, кто защищал чудовишный старый мир, были его порождением. И те, кто с ним сражался, сражался, не щадя ни своей, ни чужой жизни, — тоже все были его порождением...

* * *

Зависло тяжёлое молчание. Только с бронзовой безжалостностью, в жёлтой тональности, механически-равнодушно хоронили секунду за секундой напольные куранты...

— Ведь это, если задуматься, так просто и очевидно: они ВСЕ родились, выросли и воспитались ТАМ! — всплеснул артритными своими, шишковатыми «граблями» Левон, чуть не опрокинув свою рюмку. — Откуда взялись бы сразу миллионы прекрасодушных и доброглазых деятелей?!

— Вы хотите сказать, что красные сами... — Нахалков похолодел. И впервые пугливо подумал: нет ли прослушки от вездесущего КГБ.

— Я думаю, как это сказать, и боюсь, что вы меня сразу же неправильно поймёте, — мягко отстранился от однозначного ответа Глыбян. — И как поймут меня, старика, все, кто выросли вот здесь, — он постучал кривым пальцем между аппетитных закусок, — и кто не знает того времени... Я хочу сказать, что у всех жертв, и жертв белых, и жертв красных, один убийца: капитализм. Он, конечно, действовал разными руками, притворялся то офицером-дворянином, то рабочим в кожаной тужурке... Но и любой красный комиссар, у которого во лбу горела звезда, тоже был оттуда. Он был выращен и воспитан капиталистической фабрикой, понимаете?

— Совсем не понимаю! — рассердился Нахалков. — Хороший человек должен быть хорошим человеком, иначе это плохой человек...

* * *

Сёма Бурков из «красного» «автономного» отряда Матвея Безымянных, порешившего тот «беляцкий» госпиталь заодно с врачами, был очень плохим человеком. И в революцию его привели не мечты дворянчиков о небе в алмазах, а звериная и тёмная жажда личной мести. Сёма не мог простить Старому Миру чпокающих и чавкающих звуков, с какими в углу-

вом амбаре большого хозяйства купцов Козырниковых, мастеров на все руки, отдавалась молодому хозяину его старшая одиннадцатилетняя сеструха...

Будучи человеком злым и бесчестным, Сёма Бурков всем врал, что сеструху Фера (Ферапонт) Козырников изнасиловал. И ему все верили, за исключением пронизательного, волчьегоглазого командира Матвея. Матвей один спросил с гниловатой косой ухмылкой циника:

— Пряником небось принасиллил-то?!

Как в воду глядел! И пряник был, и калач с посыпкой, и «конфеты» из собственной кондитерской купцов второй гильдии Козырниковых, в народе прозванных за весёлый нрав и удачливость Козырями. Вообще-то Дуня за хлебом пришла — но давилась сладким глазированным пряником, аккуратно собирая шоколадные крошки с подола.

— А этого чего привела?! — задорно подмигнув, поинтересовался про Сёмку молодой, обаятельный и красноречивый, с редкой бородёнкой молодости, Фера.

— Оставить не с кем... — по-взрослому пояснила Дуняша.

— Ты это, малой... — попросил Фера, мягко приобняв за плечи девятилетнего Семёна. — На-ко вот тебе сахарна петушка, иди, с кобельками нашими поиграй! У нас кобели задорные, заграничные, палку приносить любят...

Но с неистребимым детским любопытством малолетний Сёма стал подслушивать за хозяином и сеструхой. Что ему собаки? Он собак не видал, что ли? Ему интереснее люди! И в свои малые годочки никак не мог он понять, что это за хлюпанье и чпоканье, что за стоны и всхлипы раздаются из амбара, что за странную игру затеяли «взрослые»: семнадцатилетний Фера и одиннадцатилетняя сестра?

Потом, когда понял, — стал всем врать, что Фера насильник. А у того и в мыслях не было! Он — когда расстреливали — орал:

— Врёт щенок, не было такого! Какая радость у упирающейся девке?! Да их таких, как Дунька, полна улица слободки! Любая прибежит, только свистни! На «не жрамши» взял! Три дни они не жрали, а на четвёртый она сама уж на всё согласилась...

Однако же пристрастный на свидетелей ревтрибунал поверил не купцу, а пролетарскому клеветнику. Сёма в первый раз тогда взял грех на душу, оклеветал «благодетеля» — через которого одного в голодный год только и не помер. Злой вырос Сёма человек. И жестокий.

Но хитрый, гадёныш! Свои клеветы при царском суде держал при себе, больно-то не болтал. Хотя ведь, ежели подумать, — и при царе-батюшке не было такого закона, чтобы девок пряником покупать да несовершеннолетних растлевать! Если бы Сёма дал делу ход, то Козырникову и при старом «прижиме» не поздоровилось бы. Откупился бы, наверное, но не дёшево...

Ни Дуня, ни Сёма хода делу о выдуманном ими изнасиловании не давали. И, опять же, врали, что по темноте и неграмотности, мол, «правов» не знали... Вы

им не верьте! Всё они знали! Просто хитрой, ушлой, мужицкой своей жилкой понимали (и баб включая, и их в первую очередь!) — что «ни к чему всё это».

И дело даже не в том, что суд требовал издержек, денежных, — а Дуня, как и многие её сверстницы, продавалась не за деньги даже, за съестной припас. Главным образом — в таких делах вонючих даже чистая победа не греет.

Ну, допустим бы даже, какой-нибудь не в меру честный прокурор, из «новых людей» Чернышевского, покарал бы Козырникова за растление малолетней. Дело, несомненно, получило бы широкую огласку, вышло бы в тираж... А что бы потом делала Дуня Буркова? Кто после такой «свиньи», подложной «благодетелю», взял бы её на работу из остающихся на свободе купцов или фабрикантов? Чем бы жила она дальше — даже если бы добилась маловероятного торжества формальной справедливости?

Общество, в котором вырос Сёма Бурков, не давало ответа. В этом обществе было многотомное законодательство, и царь о законности вроде бы радел. Да вот только никакие права не действовали без денег. Они не только без денег не включались, но и не нужны были никому. Даже если бы Дуня Буркова в царском суде наврала, как в ревтрибунале, что Козырников её изнасиловал — хотя она сама к нему пошла, и даже если бы Дуне поверили — что вышло бы в итоге? Козырникова бы это погубило, а Дуню — не спасло. Место в жизни, принадлежавшее Козырникову, с удовольствием, даже, может, с благодарностью — схарчили бы другие хищники. И сказали бы:

«Спасибо тебе, Дуняша, что ты Козыря под монастырь подвела и нам дорогу расчистила... Токмо теперь, Дуня, держись-ка ты подальше от нас! Не нужны нам работницы на фабрике, которые к прокурору дорожку протоптали... За то, что Козыря извела, — поклон тебе, но сами мы тебе, упыриха, уж не дадимся...»

Совершенно неграмотный сирота Сёма Бурков в законы не верил не потому, что их изучил. Он их и просто прочитать не смог бы. Лживость и лицемерие буржуазного закона Сёма постигал не за партой и не в прениях душевных залов. Он понимал их из самой жизни, из всего окружавшего ада...

* * *

Другой кровавый подручный Матвея Безмяных, в кожанке на голое тело, мрачный и туповатый Аким Крупнов — тоже был человеком плохим. Ох, далеко не небеса в алмазах светлого будущего видел он в мечтах! Над ним посмеивались, имея в виду его внешний вид:

«По тебе, Акимка, можно теорию Дарвина доказывать...»

А он не обижался, ибо по темноте не понимал, что это теория происхождения человека от обезьяны. Мол, в Крупнове проглядывает переходный тип: уже не орангутанг, но ещё и не совсем человек...

Физическая сила была у Акима страшная — подковы ломал. А умственной силы, почитай, вовсе не бы-

ло: коротенькие, мутные и рваные мыслишки, злые, как осы: жало многоразовое, а мёда не приносят...

Трудно сказать, как отнёсся бы Аким к идеям добра, если бы узнал о них или увидел. Скорее всего, в силу изуверского склада своего, отверг бы и насмеялся. Но мы никогда этого в точности не узнаем, потому что нигде в своей недолгой жизни (погиб он в 1919 году, причём от рук своих же сослуживцев) Аким Крупнов с добром не сталкивался. Они разминулись как две параллельные прямые: добро само по себе, Аким — сам по себе.

После двух страшных неурожаев, когда закончилась в родной деревеньке Акима даже и лебеда, родители продали восьмилетнего нахлебника молодцу-«извозчику». Как звали этих людей-«родителей» и где родная деревня — Аким не помнил. Крупновым его прозвал добродушный извозчик за широкую кость и прозорливость.

Извозчик привёз Акима вместе с другими такими же детьми из дальних сёл в столицу Империи. Он давно уже торговал тут дровами, дичью, сеном и голодными детишками. Восемь лет — самое время идти работать на стекольный завод, полагали инвесторы-иностранцы: уже несложную работу делать может, а платить — в три раза меньше, чем взрослому, разрешается...

Несколько мальчиков по дороге в столицу померло, но Аким был силён, в шутку именуем извозчиком Самсоном-богатырём и Крупновым. Дядька его особо подкармливал, рассчитывая сбывать такого крепыша подороже... Так что Аким прекрасно понимал, что стоит за не всем понятной народной детской игрой «Котя, котя, продай дитя»... Не о кошках там речь, как дворяне-фольклористы думали...

Крупнов грустил об «извозчике», временно ставшем ему как батя, когда оказался у иностранцев на «стекольщине». Били здесь так же, как дома или на саях извоза, а вот лишнего куска никогда не подкладывали. Он бы, наверное, умер, несмотря на широкую кость. Но ему снова повезло. Радея о подданных своих, царь аккурат в год его трудоустройства ввёл закон: детей на ночных сменах использовать не более шести часов!

Даже эти (их называли указными) шесть часов ребёнку ночью отработать было трудно — его корили за леность и дармоедство. Когда засыпал над гранильней — макали в специально установленную для таких случаев бадью с ледяной водой. «Умывали». Макнут — и вроде как опять свеж, будто выспался...

Так вот, царь специальным указом, себе на голову, и сохранил умиравшему мальчику Акиму жизнь. А мог бы будущего большевика удушить в колыбели, но... Вышло так, что выжил и вырос Акимка. Раздвинулся в плечах, а в мыслях оставался чистым зверем. Таким и в отряд к Матвею-мяснику попал...

* * *

Но мы говорим о мертвецах. Пронеслись годы, сменился вид планеты из космоса. На дворе — смею-

щиеся, солнечные 70-е, в арочном высоченном окне кухни видна стена соседнего монументального дома, на ней — огромный холст с портретом Леонида Ильича Брежнева, усыпанного наградами, как ветряной оспой... А профессор Глыбян, вороша прах и кости начала XX века-убийцы, не в меру настойчиво потчует Мику Нахалкова своими разносолами, доверительно нашёптывая:

— Другому я бы ничего эдакого не сказал! Но вам, Михаил Сергеевич... Я смотрел все ваши картины, и понял ваш калибр! Вы действительно как художник велики!

«Возможно, старик не такой уж дилетант в киноискусстве, — мысленно дунул в ус Нахалков, осмысляя сказанное. — Может, и стоит к нему прислушаться...»

Смушала только локация «как художник»... А как человек? Почему отделяет художника от человека? Сие доктор Левон незамедлительно и разъяснил:

— Не обижайтесь, но на экране режиссёр и актёр виднее, чем если даже наблюдать его в спальне! У вас удивительный дар, Михаил Сергеевич, уникальное чувство киноплёнки... Но... Не сердитесь на старика... От фильма к фильму в вас всё больше барства, всё больше от латифундиста... Однажды это может погубить вас как художника. И мне будет очень печально, если великий человек мелко наподличает... Наподличает просто потому, что очень хочется жить не в стандартной квартире, а в поместье... Такой певец непременно «даст петуха» в любой своей сольной арии! Всё начинается с невинной и беззлобной мечты — мечты о том, чтобы жить лучше других. Человек, который мечтает жить лучше других, — часто не понимает, что тем самым уже захотел их обмануть. Жить лучше соседа и обманывать соседа — на самом деле это же одно и то же... Одно вытекает из другого, это ключ и замок... А раз так, то «человек комфорта», вначале-то желавший только комфорта, а не то чтобы ободрать кого-то, в итоге... В итоге неизбежно начинает лгать, изворачиваться, хитрить и заматывать следы. Он начинает нести всякий бред и ахинею, а потом и верить в свои бред и ахинею... В погоне за уровнем выше среднего человек становится не только источником обмана, но и жертвой самообмана. Он лжец — и притягивает себе подобных. Ему с корыстными целями начинают врать и слуги, и его женщины... И лечащие врачи, и зависимые критики... И даже его дети, оказавшись в статусе «завидных наследников»... А на экране, Михаил Сергеевич, всё как на ладони. Это не подсобка универмага, это видят миллионы. И часто бывает так, что большой художник превращается в мелкого хищника. Верю, что это не про вас! Хотя... — Левон со смехом погрозил корявым, артритным стариковским пальцем, — никто лучше вас в этом мире не сыграл купца-кутилу или аристократа! В этих ролях вы перевоплощаетесь выше всех мерок Станиславского!

Нахалков отставил нож и вилку, сидел прямо, как кол проглотивший, и слегка покраснел. Он не знал,

как себя вести: обидеться или, наоборот, гордиться комплиментом? Старик закрутил мысль так, что и не поймёшь, похвалил или обгадил...

* * *

Глыбян сам пришёл на выручку собеседнику в ступоре, вернувшись от темы морального облика советской кинематографии к менее опасной теме далёкого прошлого:

— Будучи сам сиротой из приюта, — несколько казённо, пряча чувства под речитативом, завёл шарманку воспоминаний доктор, — я, конечно, не мог пройти мимо того, что костяк отряда госпитальных мясников составляли сироты царизма. Узнав это как простой факт, я стал интересоваться их бытом, их детством, условиями их жизни... Так вот, Михаил Сергеевич, эти люди выросли очень и очень жестокими. При том, что они выросли очень и очень «красными». Наша пропаганда любит потрепаться, что — мол, несмотря на невыносимые условия, рабочие сформировались всё равно с добрым, светлым нравом... И с мыслями помочь кому ни попадя... Но в жизни всё не так. В жизни это были волки капитализма, точно такие же волки, как их хозяева. Они родились без Солнца и жили без Солнца. И такими они выросли — чтобы в итоге убить моего отца-военврача...

— Что вы говорите?! — истерически взвизгнул Нахалков, который не мог, не хотел этого слушать. Ведь вся картина мира у режиссёра, баловня судьбы, сына титулованного сочинителя сталинских гимнопений, рушилась... — Вы же не хотите сказать, что это наши... — словечко «наши» вырвалось у Мики как икота, жалко и беспомощно. — Что это наши в госпитале...

И читалось в округлившись напуганных глазах папиного капризули, родившегося и выросшего на «дачах повышенной комфортности»: если они это сделали, то какие же они тогда «наши»?

— Эти дети батраков, дети рабочих слободок... — продолжал старый коммунист-сталинец разрушать светлый мир Нахалкова, — не просто не могли быть добрыми или не хотели быть добрыми... Правда жизни-то в том, что им не с чего было быть добрыми!

Он помолчал, давая мысли дойти до собеседника. Мысль была нестандартной, неформатной, особенно в простодушные брежневские годы...

— Они сформировались там, деформированные чудовищным сверхдавлением и смёрзшиеся от сверхнизких температур своих подземелий...

* * *

— Среди красных полно было благородных романтиков, — продолжал Глыбян, глядя на режиссёра в упор. — Фильмы о них снимать легко и приятно... Но только очень уж похожи эти фильмы на глянцевые рекламные буклеты, в которых фирма расхваливает сама себя...

— А как же иначе? — пискнул Мика и задумался о цензуре, о партийных кураторах его съёмочной

площадки. Глыбян про такие «мелочи» не думал. Он всё же был дилетантом в киномире.

— По-настоящему великим был бы тот фильм, которого у нас, боюсь, снять не позволят. Надо бы взять не лучшего из красных, а худшего... И через его судьбу доказать моральную необходимость коммунизма... Так, чтобы это была подлинная правда жизни, а не самохвальство победившей партии. Это будет страшная и неоднозначная история — но зато она будет воспитывать не дурачков, а подлинных борцов за цивилизацию... Тех, которые понимали бы: для того, чтобы «стоять в истине», нужно что-то, на чём стоять будешь! А если ты гонишь Ничто — тогда ты по ту сторону добра и зла... Хорошо ваше место под солнцем или плохо — из того, что оно у вас есть, уже следует, что вы его отвоевали. Или кто-то для вас. Папа, например...

Нахалков обиделся, даже отвернулся. Он очень не любил, когда ему намекали на титулованного отца как источник всех его жизненных успехов. Намекают, как вот этот лживый, безумный кудесник-старик: «Талант-то ты талант, да только таких, как ты, талантов в Мухосранске бочками маринуют и дешевле сеledки продают... Кабы батюшка твой у Сталина карандашиков не кланчил — ты бы кинокамеры-то и не понюхал...»

Конечно, так грубо Глыбян не сказал. Он сказал тоньше, абстрактнее, вежливее — и оттого обиднее... И — тоже обидно! — даже не заметил, что гость обиделся. Крутил свою скрипучую шарманку дальше:

— Вы когда-нибудь задумывались, почему самое милосердное из всех учений начинается не с проповедей Христа, а с кровавых ужасов Ветхого Завета? Где детей бросают то под пилы, то под молоты, то головы младенцам о камни раскалывают... Почему бы не отбросить всю эту жуткую предысторию и не начать сразу с тоненькой брошюры Евангелия?

— Многие пытались... — хмыкнул Нахалков, уже в 70-е не чуждый идеям православия. В своей рецензии на прогремевший по всей планете фильм режиссёра Бондарь-Гека «Волна и пир» Мика особое место уделит сценам христианских молебнов. Находит там «вечные образы русского характера», и всё такое. И, конечно, не находит там места ветхозаветной медвежуги... — Многие пытались, от евангелистов до Льва Толстого...

— Крови чурались, — поддержал-поддакнул Глыбян. — Но получалось из их воспитательных усилий всегда только одно: слабоумные дурачки. Их растили для счастья — а на самом деле как корм первому же волку... И сегодня наша партия повторяет эту ошибку евангелистов и Толстого, хочет нового завета без ветхого... И очень опасуюсь я, что кончится это худо весьма... Прекраснодушные дурачки, узнав однажды, каким было начало их общества, проклянут и себя, и общество...

* * *

Ещё один боец Матвея Безымянных — Парамон Снегов, был не только очень жесток, но и не вполне

психически здоров. Он пришёл к большевикам босятской дранью: на одной ноге опорка лубяная, на другой драный шерстяной носок. И вообще весь одет как юродивый времён Иоанна Грозного. Но пришёл из секты трезвенников!

К водке относился как к живому, злему и почти всемогущему богу. Пить начал в шесть лет, а завязал уже в зрелом возрасте. Он с этой водкой во сне разговаривал, товарищей пугая. Вроде как она в него влиться хочет, наподобие того, как он в большевистское движение... А Парамон Снегов её не пускает, всякие ей заговоры и наговоры ставит, жесты ритуальные, из секты: не буду пить, не буду пить...

На фабриках он не батрачил: в малых годах попал в шуты в четвертый квартал бывшей 3-й Адмиралтейской, а при государе Николае II Спасской, улицы «Питербурха», где простирался рядом строй доходных домов боголюбивых и гуманных князей Вяземских. Князья эти выстроили тринадцать многоэтажек, сдавая их под самого неприхотливого квартиросъёмщика. И полвека в народе звалось это змеиное гнездо с издёлкой — «Вяземская лавра». Туда и попал сирота Парамон Снегов, на «малину» аккуратно против Тряпичного флигеля, в дом, что тянется вдоль всего Полторацкого переулка...

Здесь люди тёртые-бывалые приняли, как родного, стали малыши к забавам приспособлять. До семи в православии возраст младенчества, но Парамонша первую рюмку «зелена вина» принял за год до отрочества. Напоят его смехачи Вяземской лавры, и ну учить матерным словам, кривляниям да паясничать! И хохочут... А он и правда смешной был, особенно когда пьян. Коренастый, лобастенький, быстро всю скверну трущоб схватывал. Говорить толком не умел — зато на потеху гостей матерился уже трёхэтажно. Примет рюмаху — и становится как бы бесноватый: скачет, ломается, орёт матерны дурным, недетским голосом, неприличные жесты показывает. А гости, мастеровые всякие да ветошники, ржут, потешаются, подкармливают с руки...

— Парамонша, покажи, как собачки любятя!

Маленький Снегов поставит рачком товарку по несчастью, фабричный выброс, Маруську Макаркину, и давай изображать. Да так энергично, что гости «Вяземской лавры» со смеху под стол валяются... Имитируя действия собачек по весне, маленький Парамонша не понимал смысла. Он думал, что собачки просто сдуру толкаются, и не мог взять в толк, при чём тут слово «любятя»? Если кто кому кусок мясного пирога бы дал, это любовь, а если они толкаются без смысла, какая же это любовь?

А вокруг гогот, как на гусином пляже в перелёт. Надрывались пьяные мужчины и женщины этой клоаки, шутики ради подпойвшие Парамоншу и Марусю, отравляющие их так, систематически, чуть ли не ежедневно. А что, зря, что ли, кормят их тут? Пусть судьбы щенки отработывают хлеб насущный!

Гуманная русская интеллигенция в начале XX века порой устраивала в таких местах «докторские об-

лавы». В одну из таких облав и попал малолетний Парамоша Снегов, на беду государя-императора. Так бы сгинул враг царя в Вяземской лавре, а врачи, пособники революции, откачали его в больнице, пить не сразу, но отучили. И чем в итоге за всё добро образованных людей отплатил этот изверг? Разве вырос он в кадета или эсера? Вырос зверёныш в большевика, сектанта, больше всего на свете, до галлюцинаций, боявшийся водки, а убивать «чистую публику» нисколько не боявшийся...

2

— Надеюсь, он родится мёртвым! — сказала молодому доктору-ординатору Левону Глыбяну роженица Маргарита Матвеевна. Ни в какие акушеры Глыбян не собирался, здесь был только на краткосрочной стажировке-практике, почти «отработке», на которую гоняют всех студентов мединститута. И надо же такому случиться, что...

...Она была похожа на своего отца, а лицо её отца, чекиста Гражданской войны, доктор Левон частенько видел в ночном общежитии Второго медицинского института. Видел, когда ему снились кошмары...

...Говорят, взрослые ничего не помнят о своем пятилетнем возрасте. Или — в лучшем случае — помнят что-то смутное, расплывчатое... Это не совсем правда. Есть обстоятельства, при которых даже пятилетний ребёнок может до конца дней своих сохранить отчетливые и членораздельные воспоминания. Доктор Левон подтвердил бы это под присягой.

Ему, сыну доктора из Эривани (военврача времен «германской империалистической») шёл шестой годок. И у армян своя правда. Особая. И счёт особый. Пока красные обустроивали «счастье всего человечества», цепляясь за вечно выскользавшую из рук, как мокрая верёвка, власть трудового народа, — турки под шумок вошли в Армению и вырезали почти всех армян. Этим людям уже не было дела до классовой борьбы и угнетения трудящихся: они просто исчезли, истреблённые страшной и неистовой местью извергов в фесках... И потому военврач из Эривани ненавидел красных вполне искренне и вполне осознанно. Ему — было за что. Оттого он отнюдь не восхищался во дни отступления Деникина от Москвы, когда отряд чекистов верхом, под командой «батьки Матвея» ворвался в его госпиталь.

Левон запомнил запах спирта с камфорой — едкий и приторный, из разбитых и раскатанных по полу бутылочек, хрустящих под солдатскими сапогами. В госпитале были разные люди — были и «классово-близкие». Но батя Матвей убивал всех — без разбору, — чтоб живыми не достались ненароком ненавистному врагу... Отец со старшей «сестрой милосердия» тащили Левончика, маленького, напуганного, кое-как одетого, к крошечному окошечку, проделанному в подсобке госпиталя — к тому окошечку, в которое не пролез бы никто из взрослых, к тому, в которое мог втиснуться только пятилетний малыш.

— Он не добежит! Он ещё маленький! — визжал отец на грани ультразвука. — Он ни разу из дому не выходил без провожатого...

— Ангел-хранитель укажет ему дорогу... — возражала бледная как смерть медсестра.

— Беги, сынок! — умолял отец, и по его смуглому лицу, по крупному горбтому носу катились капли пота — кое-где вперемешку со слезами. — Беги по спуску вниз, всё время вниз! Беги и кричи: красные убивают раненых! Запомнил? Красные убивают раненых!

Левончика вытолкали в окошко. Он кубарем полетел под откос, вскочил на ноги и побежал, насколько духу хватало. Он бежал вниз, под уклон булыжной улицы, уже не помнит, в каком городе, бежал и орал слова, смысла которых тогда не понимал:

— Скорее! Туда! Там красные убивают раненых!

Белая конница уже входила из предместья. Ангел-хранитель вел малыша к ней — к русским поганам, к тем поганам, к которым подталкивал и многовековой армянский инстинкт: там, где русские поганы, там спасение, там жизнь! — стучался в сердце голос крови, голос предков... Эти поганы, но уже в окопах Курской дуги, и примирят его окончательно с советской властью, но до того много воды и крови утечёт...

Импозантный поручик Бунин, однофамилец, а может, и родня известного писателя, подхватил Левончика с земли, усадил на луку седла горячего, игривого донского коня:

— Откуда ты, малыш? Где красные, кого убивают?

— Скорее! Туда! Там красные убивают раненых! — словно попугай, повторял Левон до рубцов в мозгах заученные, окровавленные слова. И плакал, и чувствовал себя предателем. Ведь ему было всего пять лет, и он не мог показать дорогу. Его вёл сюда ангел-хранитель, а как выбраться обратно, он не знал...

— В госпитале, наверно, господа! — выкрикнул один из конников, взмыленная лошадь которого раз за разом порывалась встать на дыбы. — Я здешний, у меня поместье в трёх верстах! Поскачем, покажу!

— Эскадр-о-о-н! — заорал импозантный поручик, выхватывая тяжелую шашку из ножен. — За мной, лавой уступом вправо, ма-а-а-рш!!!

Левон летел на вороном коне, летел быстрее ветра, и маленькие уши его закладывало, а из-под копыт белого эскадрона, шедшего мостовой и убитыми газонами, летели шматки грязи, искрились о булыжник подковы, и ничего прекраснее, чем этот полет, не знал, не ведал маленький Левон!

Они влетели на госпитальный двор — влетели в мыле и справедливом негодовании, когда с обеих сторон тщательно припрятанные пулеметы батяки Матвея ударили в бока эскадрона шпорами кинжального огня...

Это была ловушка. Матвей нарочно выпустил мальчишку из госпиталя, специально дал ему уйти. Он, Матвей, бывалый бандит, дезертир царской армии с 1915 года, знал, чем взять «их благородий»... Знал, рассчитал, что поторопятся, не вышлют разведки, передового охранения... Заранее разметил

конфигурацию огневых точек — так разметил, чтобы из мешка не ушел никто...

— Так-то, ваши превосходительства! — гоготал Матвей, расхаживая посреди трупов. — Где уж вам с нами? Куда уж вам до нас? Кто жёстче — тот и сильнее... Вы соплежуи, вы неврастеники, вы барышни кисейные — и с кем воевать задумали? С теми, кто из стали выкован?

Он нашел мальчика пяти лет, мальчика, полупридавленного павшей вороной кобылой, и подошел к Левончику циркульно-кривоногой походкой кавалериста. Он был в окровавленных галифе и кожаной тужурке. Взял мальчика за шкварник, защемив натруженной широкой и грубой ладонью спину, поднял, как кутёнка, на уровень страшных, пылающих домнами глаз демона:

— Ну что, щенок! Пожалели тебя их благородия?! Кинулись спасать? Первая тебе благодарность от советской власти... Хорошо свою роль сыграл...

И отбросил мальчика в сторону — на белые, бескровием простынеющие трупы эскадрона...

...Нет, зря говорят, что нельзя в точности запомнить увиденное в пять лет. Кое-что можно. Доктор Левон был готов поклясться, что помнил почти всё...

Он вырос в детдоме, и вместо Глыбяна его иногда называли «Голубев» — за тихий нрав и покладистый характер...

И когда в детдоме ритуально, детским хором, благодарили Сталина, Левон особенно старался. Левон подросток и знал, что всех этих ненавистных, оставивших в его младенческой памяти ожог комкоров-кавалеристов Сталин одного за другим забирает «к стенке»...

Сталинские суды вызывали тогда в Глыбяне ноющий и зудящий восторг, внутреннее содрогание сопоставимого с оргазмом блаженства. Они, суды эти, топорные, в чём-то смехотворные, представлялись юноше справедливым возмездием этим упырям, расплатой за их поведение в Гражданской войне, о которой отец передал Левону по наследству свой, особый, армянский взгляд: «Кого спасали, а нас поголовно дали туркам вырезать!»

Тогда молодой Левон видел в персоналиях сталинских расстрелов только ополоумевших от крови псов войны, которые одичали от человечины и не могут себя найти в мирной жизни. Для того, чтобы всё понять до конца, нужны были годы. Старость нужна была... Но даже в молодости он был справедлив и понимал, что сирота может поступить в престижнейший столичный медицинский вуз без протекции только в Стране Советов. Как ни крути, даже если считать это подлым, — но он пожинал проценты со вклада крови, сделанного в его детстве. До революции сироты тоже делали кровавые вклады, но только процентов с них никто и никогда не удосуживался уплатить...

Да, Левон хорошо учился. Но это чертовски мало, чтобы стать врачом. Его отцу в царской Эривани потребовалось купеческое происхождение. А Левону — ничего, кроме усердия...

Нужно было быть слепым, чтобы не увидеть: за считанные годы сталинская страна поднималась и хорошела на глазах. Левон ненавидел, но он не был ослеплён ненавистью. Сохраняя в сердце счёт к убийцам отца, он оставался в целом благожелательным юношей и за добро платил добром. Он сохранил самые лучшие чувства к коллективу детдома, в котором вырос и откуда шагнул в мединститут. Там о нём действительно заботились. А не позаботились бы как положено — мало не показалось бы педагогам: время было строгое, не забалуешь...

А потом он попал в очень светлую, увлечённую, почти ангельскую среду молодых и пожилых медиков, увлёкся Гиппократовым священным делом. Здесь и полюбил СССР — во многом потому, что был уверен: батька Матвей конечно же гниет в одном из сталинских рвов для падали, засыпанный карболкой... Сталин освободил молодого ординатора от кровной мести, дал жить спасая, а не убивая: сам за него проделал всю очистительную работу.

Но иногда прошлое возвращается. Через годы — вдруг оказалось, что кровавый изверг из прошлого если не живее всех живых, то живее многих...

* * *

— Поручик Бунин, — рассказывал в 70-х, за богатым столом, Глыбян совсем приунывшему кинорежиссёру Нахалкову, — однофамилец, да, думаю и единомышленник нашего великого писателя...

И видно было, что старик годами основательно изучал вопрос, казалось бы, давно забытого и погребённого в мрачных долинах смертной тени преступления времён Гражданской...

— Я никак не мог объединить их вместе — купца Козырникова, пьяного, расхристанного, насилующего семнадцатилетнюю работницу на глазах её младшего брата, да ещё подмигивающего ему, — и поручика-дворянина! Они не только разные люди, они даже и к сословиям разным принадлежат, понимаете?

— Почему за скота и выроodka Козыря должен отвечать патриот и романтик, сторонник «Единой России» поручик Бунин? — согласился с вопиющей несправедливостью Нахалков, отхлёбывая особый, армянский кофе «сер» из маленькой изящной чашечки. И закусывая бисквитом...

— Вы ещё слишком молоды, Михаил Сергеевич! — посетовал на годы знаменитости старый врач. — Это вообще трудно понять даже старикам... Но особенно трудно, если пуда соли не съел в старом мире, понимаете? Во всей этой истории у меня был личный мотив, и я покопался в архивах, поговорил с живыми — тогда ещё — свидетелями... Чего я хотел, чего искал? Вы, наверное, догадываетесь...

— Безусловно! — кивнул усами Нахалков. Человеком он был пронизательным.

— Я искал пятен в биографии поручика, грязных пятен... Мне — да и всем, наверное — было бы проще узнать, что он крепостник, каратель, что он порол мужиков на конюшне и зверствовал, как Салты-

чиха... Но в том-то и ужас бытия, что ничего такого о нём я не узнал!

— Чистым оказался поручик из чистого общества? — криво ухмыльнулся Нахалков и стал похож на кота.

— Поручик Бунин, однофамилец, а может даже и родственник, «того самого Бунина» — вырос в солнечном дворянском детстве, похожем на воспоминания дворянских мальчиков: Аксакова, Толстого, Гарина-Михайловского... Увы, Михаил Сергеевич, но это был носитель личной незапятнанной чести и личного благородства, именно таким он и оказался у белых...

— Это ломает мои представления о добре и зле... — грустно сознался кинорежиссёр, похожий на сибирского Кота Котофеевича с васнецовских иллюстраций народных сказок.

— Это не ломает наши представления о добре и зле, — возразил корифей медицины, — но насколько же, боже, усложняет их!

— С одной стороны, кровавые монстры, с другой — такой вот мальчик-колокольчик... — начал было Михаил Нахалков, но Глыбян перебил:

— Который сам-то лично конечно же не понимает, что защищает не только фабрику купцов Козырниковых, но и в более широком смысле — всю фабрику бесконечных зверств и издевательств над беззащитными жертвами шантажа работодателей! Михаил Сергеевич, вы молодцы, талантливы, я бесконечно уважаю ваши экранизации классики...

«К чему это он снова?» — даже испугался Нахалков в мыслях.

— ...Только вам одному под силу кинематографически отразить всю эту драму, которую пытались, но не смогли передать ни Вишневский, ни Шолохов, ни Станюкович... Разве что Михаил Булгаков сумел, но у нас его не издают, да и насколько сумел он — вопрос тоже не из однозначных...

— Мне кажется, Шолохов очень реалистично передаёт ужас Гражданской... — заступился за классика Михаил Сергеевич. Шолохов был другом его отца, и обидно было, что какого-то, давно покойного Булгакова выживший из ума старик ставит впереди ещё живого и полнокровного певца тихого Дона.

Почему-то, в контексте разговора, вспомнился Чехов, в рассказе 1888 года описавший тринадцатилетнюю сиротку, поступившую к мастеровым в прислугу, забитую, затравленную там, доведённую до сумасшествия тем, что ей много ночей не давали спать. И в итоге задушившую крикливого хозяйского младенца... Вы скажете, что Антон Павлович — лжец? Или вы скажете, что девочка совершила хороший поступок, удушив младенца?! Девочка, конечно, сошла с ума и совершила страшное зверство, но с ума она сошла не сама по себе, а потому что довели «хозяева»... А хозяева её — не дворяне и не банкиры, они мастерские люди, они — пресловутый пролетариат! И вот всё это вместе: когда или сам содхни, или найди, кого вместо себя подставить смерти, — называется капитализмом...

Нахалков открыл было рот, чтобы критически, с высоты XX века обсудить Чехова, заодно продемонстрировав широту взглядов и эрудиции, что всегда стремился оттенить в самопрезентациях. Но Глыбян не хотел говорить о Чехове. Он не хотел говорить ни о Шолохове, ни о Булгакове. Ни о ком постороннем... Он торопился, стоя одной ногой в гробу, путано и многословно, но искренне, передать те мысли, которые считал наиважнейшими:

— По-сегодняшнему, так жалко всякого: и юнкера семнадцати лет, через которого перешагнули на дворцовой лестнице, и юную княжну, изнасилованную матросней... Но есть тот, кого маленькому человечку следовало бы пожалеть ранее юнкера и княжны: а именно, самого себя. Когда его лишат всех средств к существованию и выбросят на мороз подышать — он станет взывать: «Господи, Господи! Я-то всех пожалел, что же меня-то никто не жалеет?!» Но Бог не ответит ему: Богу неинтересны дураки в собеседниках...

* * *

Остыл кофе, заветрился на блюде нежный, с розвинкой, адыгейский сыр ломтиками. Но не остывал доктор Левон, нашедший себе достойного слушателя:

— Есть много жертв у коммунизма, к которым нет никаких личных претензий. Эти лично невинные жертвы — одноразовый ответ нового строя бесконечности безликих и безымянных жертв прошлого уклада. У подавляющего большинства жертв капитализма — тоже нет ни собственной вины, ни личной ответственности. Они — муравьи, раздавленные колесом. Они потому и забыты так легко, потому что безлики, зачастую от них не сохранилось ни одного письма, ни одной фотографии. Так, могилки без креста...

Говорил старый врач, а сам вспоминал...

* * *

...Как много лет назад заторможенно смотрел в ночное окно, и его бил озноб в теплом отделении для рожениц. Ординатор Глыбян узнал, что бабушка Матвей, недогнущей рукой когда-то вырезавший весь госпиталь, чтобы заманить в силки белый эскадрон, бабушка Матвей, прикладом «мосинки» превративший череп его отца в томатную яишню, жив и здоров. И дочь его Маргарита рождает первенца у Левона Глыбяна на руках...

— Надеюсь, он родится мёртвым...

Странная фраза для матери. Странная и чудовищная, если задуматься.

— Вы не должны так говорить! — мягко, упрашивающе и фальшиво произнес доктор Глыбян. На самом-то деле откуда ему знать, КАК она, из рода проклятых, должна говорить?

— У него нет шансов быть нормальным ребёнком, — жёстко, заужая такие же страшные, огнем пышущие, как у отца, глаза, рубила воздух Маргарита.

— Почему? — недоумевал Глыбян.

— Вы доктор, и вы обязаны хранить врачебную тайну... Вам, вероятно, я могу рассказать... — полуспрашивала-полуутверждала роженица, не привыкшая терпеть возражений... — Это не от моего мужа ребёнок...

— Ну, дорогая моя, для нашего времени это весьма распространенное явление... Дело в том, что не от мужа рожают около...

— Вы не дослушали, доктор! Это ребёнок не от моего мужа. Это ребёнок от моего отца...

— О, боже... — не смог сдержаться Левон. Достал кружевной платочек, утер разом заблестевший влажными бисеринами лоб.

— Я знаю, что от инцестов рождаются иногда и здоровые дети, — говорила Маргарита Матвеевна. — Но мой отец был вдрызину пьяный, когда изнасиловал меня... У него тогда арестовали всех его корешей в органах, и он ждал собственного ареста со дня на день... Сильно пил... Был уже практически умалишенным — до белой горячки... У нас есть загородная дача — он там жил, и я приезжала ему помочь по хозяйству... Там он меня пригнул к столу и, как зверь, изнасиловал сзади... У него железные руки... И железная хватка...

У Глыбяна, который потирал переносицу от смущения и растерянности, в голове заметались нелепые мысли: про аборт, про запрещение аборт, не так давно вступившее в силу, и про то, что Вождю нужны воины... Есть нелегальные аборт — но не в этих кругах, не там, где делают карьеру и боятся за карьеру... Не там, где служат в органах и включены в номенклатуру...

— Но если бы ублюдок родился мертвым... — сказала мать страшное в её устах слово, подобное первородному проклятию. — Это устроило бы всех...

* * *

Именно тогда у доктора Левона и появился зудящий соблазн: удушить адского отпрыска эфирной ваткой. Они лежали втроем в одном дошаном лотке, крытом белой краской: три младенца с клеенками бирок на ножках.

«Жив.мальчик. Елена Суханова».

«Жив.мальчик. Маргарита Совенко».

«Жив.мальчик. Наيري Глыбян».

Да, да, красавица, носившая фамилию ординатора-практиканта, его законная супруга, родила живого мальчика, для которого они заранее подобрали красивое имя Алан...

Какие совпадения! Какие немислимые совпадения! Или — судьба?! Доктор Глыбян не знал. Но он не мог удушить эфиром младенца при собственном сыне. Сын ещё не открывал глаз и всё время спал, но если бы рядом убивали — Алан наверняка бы почувствовал. Ведь запомнил же его отец дословно все разговоры, услышанные в пять лет...

И ещё кое-что. Убив младенца от плоти отцовского палача, доктор Глыбян проиграл бы некий спор, некое пари, которое с пяти лет вел алой нитью через всю жизнь. По этому парадоксальному пари

получалось, что, если Глыбян отомстит Матвею или его потомкам, Матвей выиграет, победит. Ведь он сказал тогда — лицом к лицу, глаза в глаза: «Кто жестче, тот и сильнее!»

«А это не так. Не так! В этом и суть спора», — думал тогда молодой доктор Глыбян, с которым очень и очень серьёзно поспорил бы теперь старик профессор, многое переосмысливший.

«У человека нет права решать вопросы жизни и смерти, — думал тогда молодой интеллигент. — И никакая наследственность не может породить злодея. Подтолкнуть к злодейству, спровоцировать, соблазнить на зло — да! Но возможность — ещё не есть неизбежность. Отец Бетховена был запойным пьяницей, а сын... Да! В некоторых делах нужно довериться Богу и его праву спасти даже уже осужденных...» В чём он прав? В чём нет? Кое-что он повторит и сейчас. Но не всё. Его тогдашние мысли и чувства — зародыш будущей интеллигентской советской болтовни, чистоплюйства небитых мальчиков, пилатовщины, рукоумойства... Они зарождались уже тогда, ещё при Сталине! А разрослись бешеными сорняками уже потом, в более спокойные годы...

Эта гладкая с виду этика болтунов и пустышек, которая им казалась бесконечной и бесконечно же верной. А на самом деле кубометры этой кухонной болтовни одержимых пацифизмом недорослей аннулируются одним ударом кастета по лицу...

Ибо есть дело. А есть прилипшие к делу, едущие на нём паразиты. Сталин воплощает собой дело, а его кухонные болтливые судьи — паразитов. Сталин добывал им пищу, а они брезговали его способами добычи, сосали в адаптированном виде, через свои присоски паразитарного организма. Умничали, изображая Бога из себя. А были на деле вовсе не земным ретранслятором Бога, а треплом, апологетами лени и недеяния — отца безошибочности...

Есть личные счёты к роду Матвея Безымянных и ко всей его банде. Серьёзные счёты, вендетта. Трудно быть беспристрастным, когда перед тобой кровная месть за отца... И легче, конечно, нырнуть в ханжеское всепрощение псевдохристианства, будучи паразитом-получателем, вообразить себя милостиво прощающим грехи судией... Так и проще, и безопаснее, и... красивее, чёрт возьми!

Ибо сказано не только: «невозможно не прийти соблазнам», но и другое, обратное: «горе тому, через кого они приходят». Вместе это понять трудно — так же трудно, как совместить двух Иисусов: Навина и Христа. А у них, таких разных, не только имя одно, но они ещё и в книге одной.

* * *

Это и пытался растолковать Глыбян талантливому, но избалованному жизнью и благожелательностью всего окружающего кинорежиссёру Мише. При этом по возможности выкручивался, стараясь соблюдать хоть какие-то рамки того, что позже назовут «политкорректностью»:

— От одной лжи вы сползёте в другую ложь. Представив революционеров «ангелами света», вы встанете перед вопросом: почему же Сталин истребил так много «ангелов света»?

— Потому что он был безумен и зверски жаждал власти, — сказал Михаил Сергеевич фразу, пользуясь одинаковым почётом и у руководства КПСС его лет, и у прозападных диссидентов-«невозвращенцев», вроде его сбежавшего в Америку, опозорившего семью брата Мандриана...

— Это не ответ истории! — рассердился старик Глыбян. — Это версия подонка Хрущёва, который, будучи идиотом, так и не смог понять — зачем все эти сталинские процессы? Зачем истреблять героев?

Он помолчал — и перешёл к главному:

— Само по себе устройство жизни описывается не именами, а законами! Вот о чём фильм-шедевр нужен! Не осознав исходной грязи капитализма, вы не поймёте и очищения. И в итоге столкнёте человечество в ад, где оно барахталось тысячами лет, а из-за вас ещё тысячи лет будет барахтаться, потому что вы не поняли ни революции, ни Сталина!

— Ну, извините, Сталин — не Бог... — протестовал Нахалков.

— Далеко не Бог! — с готовностью закивал Глыбян. — Таких ошибок понаделал, на всю галактику... Один Хрущёв чего стоит! Но не задумывались ли вы, что великие ошибки — обратная сторона человеческого величия? И что у мелкого человека даже и ошибки мелкие. А у никакого — никакие. Никакого человека при жизни никто не судит, а после смерти никто не помнит.

— А Сталин, по-вашему...

— Да не про Сталина, Михал Сергеич, наш разговор! Он — вообще про революцию. Боюсь я, Михал Сергеич, очень боюсь я плоской честности так называемых «хороших людей»... Нет на свете хуже той лжи, что возьмёт дистиллированно-чистую правду, но вне общего контекста...

— Интересное выражение: «плоская честность»... — задумчиво выделит любивший красное слово Мика Нахалков.

— Она же узколовая, она же теплохладная... «Правда без любви мучительство одно»... Отделяя чистых от нечистых, вы сами не заметите, как отсекали себя от тех заляпанных кровью фигур истории, которые дали вам возможность жить, дышать, попросту быть на земле. Так чистенький, хорошо устроенный горожанин отрекается от деревенских родителей и родни! Он не хочет иметь ничего общего с этой грязью, не понимая, чьими руками из неё вынут и поднят...

3

В годы Великой Отечественной войны военврача Левона Глыбяна поставили, не иначе как завистники этого «вечного отличника», на очень неблагодарное и неблагодарное дело: лечить немецких военноплен-

ных. Копии жалоб Левона составляют целую пачку: Глыбян их хранил, чтобы как-то оправдаться перед самим собой. Куда он только не писал, объясняя, что не может он, советский патриот и сталинец, в годы Отечественной войны лечить врагов! Всякий раз ему отвечали: «и это тоже кто-то должен делать».

Тогда было строго. Приказ есть приказ.

И по долгу службы, и просто для души Левон общался с пациентами: когда на их ломаном русском, когда на собственном ломаном немецком. Общаюсь — стал понимать ещё кое-что о правде жизни. Народ жрут не только сверху, буржуи-кровопийцы-угнетатели. Очень часто (армянину ли не понимать?! — народ пожирается сбоку. Просто приходят соседи и вырезают всех, без разбора. Был народ — и нет народа. В прошлую войну такое пытались сделать с армянами. В эту — с русскими. Масштаб — впечатляющий...

И однажды очередной пациент рассказал Глыбяну про жуткий страх тыловиков, «генерала Матвея» — пожилого уже, но оттого ещё более опасного организатора партизанского движения в Белоруссии. Попав в плен на правах важного «языка», этот офицер вермахта своими погонами спас себе жизнь: велели доставить из партизанского края самолётом в Ставку. С теми, кто помельче, так не церемонились.

— Они при мне, наверно специально, расстреливать стали в лесу полицаяв из украинской «Hilfspolizei». Молодой партизан, ему на вид лет пятнадцать, промазал, ранил украинца тяжело, но не смертельно. «General Matthew» велел добить. Тот собирался выстрелить второй раз, но «General Matthew» бранил его «словами, которые я не знаю». Дал Ohrfeige... то есть подзатыльник, по-вашему. У партизан, говорит, каждый патрон на счету, добываем с боя, а ты на эту собаку целую пулю потратишь! Что, ножа нет?! И этот пятнадцатилетний Kind-Partisan стал бить лежавшего на земле в крови полицая большим пехотным стилетом...

— У нас этот инструмент называется «пробоем», — расширил врага в понятиях доктор Глыбян с улыбайкой.

— А тот был большой, толстый полицай, румяный... Он кричал, плакал и сделать... сделать... in die Hose legen... как это по-русски?

— Обосрался, — снова выступил Левон в роли лингвиста.

— Да, он как бы есть обосрался, и мочился... — от волнения у немца из речи выпадали русские слова и усиливался акцент. — Он очень хотеть жить, этот украинский полицай... Он съёг деревня со всеми жителями не потому, что был жесток... Он и тогда хотеть жить... Иначе его бы расстреляли как непослушного военнопленного... Kind-Partisan поэтому было трудно... Его потом Brechreiz... Сорвало...

— Вырвало, — подправил Глыбян. — Ну, и какова ваша оценка всей этой сцены?

Немец был интеллигентен, сух и деловит. Он не рассусоливал, подобно вечно заговаривающейся

русской интеллигенции. Выводы отличались тевтонской чёткостью и строевой выправкой:

— Первое... мы зря воевать с русскими... Второе... «General Matthew» есть очень хороший учитель для Kind-Partisan. Хотя он говорить, что жалеть пуля, я понял его: он не пуля жалеть. Он учить Kind-Partisan настоящей мужской жизни...

«С одной стороны, — думал Левон, — Матвей Безымянных вполне узнаваем. Он не делает ничего нового — всё то же самое, что и в Гражданскую... Но теперь он вызывает у меня не омерзение, а... уважение! Да, как ни странно, уважение! Он, конечно, зверь, давно ошалевший от крови и человечины, и не расстрелян в 1937-м, несомненно, лишь по ошибке, по какому-то недосмотру... Всё, что я о нём знаю, — говорит о звере, хищнике, чудовище...»

Пауза в мыслях, значимая смысловая пауза. И далее — уже иным тоном думал Глыбян: «Ну, а я в таком случае кто?! Я лечу врагов страны, которых он не добил... Если все были бы такими же беззубыми и кроткими, как я, — то разве мы не полегли бы уже все, и отцы и дети, — под прусским мечом?»

Глыбяну хотелось верить, что герой партизанских лесов и знакомый с детства зверь — разные люди, просто однофамильцы. Но по рассказам пленного, честного, как и все немцы, которые всегда и дружат, и убивают честно, без англосаксонского словоблудия, — рисовался вполне опознаваемый образ.

— Он перебивал нашим ноги и бросал в лесу возле трассы... — рассказывал тевтон. — Обездвиженный человек думал, что остался один, и начинал кричать, звать на помощь... Естественно, на родном немецком чистейшем языке... Проезжавшие мимо мотоциклисты или велосипедисты слышали эти крики и шли в лес помочь... А здесь их ждала хорошо подготовленная засада General Matthew... Он очень многих наших уничтожил таким способом — на живца... А потом наши миномётчики расстреляли в лесу случайно заблудившийся взвод сапёров-мостовиков, который просто звал на помощь... Никакого General Matthew поблизости не было, но слух о его западне заставил вместо помощи стрелять по зовущим на помощь... General Matthew умело посеял в наших сердцах страх и недоверие друг к другу. Каждый крик соплеменника стал нам казаться засадой General Matthew...

Во всём облике немца был чугунный кубизм прусского казарменного духа. Никаких трещин рефлексии, свойственной русским нытикам: «надо напасть на всех, кого мы можем убить, и не нападать только на тех, кто может убить нас»...

Прошло ещё сколько-то времени, и Левон Глыбян обнаружил в газете заметку «В лучших чекистских традициях». Теперь о Матвее Безымянных советская пресса писала уже открыто, без режима секретности, потому что генерал ранен и самолётом переправлен в тыловую госпиталь.

«Попади он ко мне... — думал Глыбян, комкая газетный лист, — я бы его зарезал скальпелем...»

Но какая-то другая сторона доктора Левона уже протестовала против такого решения.

«Ну давай, горный орёл! — насмешливо звенели в голове голоса однокашников по детскому дому, чьи судьбы серьёзно расширили представления Глыбяна о сложности настоящей, невыдуманной, жизни... — Только на это и способен! Скальпелем резать под наркозом, обездвиженного! А ты почитай, что сделал твой кровник и при каких обстоятельствах он был ранен...»

И Глыбян расправил скомканную газету...

...Французские рабочие вкуче с французскими инженерами очень не любили фашистов. Но боялись. И делали для Гитлера 520-миллиметровые железнодорожные мортиры фирмы Шнейдера во Франции. Плакали — но делали. Парабеллум в затылок, куда ж деваться? В Германии орудие получило наименование 52 cm H(E), а между собой немцы прозвали его «толстушкой Дорой». В ходе блокады Ленинграда одно такое орудие располагалось между Колпином и Красным Бором и било на 15 километров... И не было ничего страшнее для блокадников, чем «толстушка Дора». Бомбардировщики сбивались зенитчиками, но как сбить гигантский пушечный снаряд, в котором, к тому же, нет рискующего жизнью лётчика и который стоит в тысячу раз дешевле боевого самолёта?

В помощь первенцу осады немцы составили во Франции, среди плечущих рабочих и инженеров, целый состав родных сестрёнок «толстушки Доры». Двенадцать гигантских орудий, каждый снаряд из которых уничтожает без остатка трёхподъездную пятиэтажку... Отсюда через всю Европу, встречаемые слезами, но не сопротивлением, на специальных железнодорожных платформах, «толстушки Доры» поехали в гости к сестре и «Ленинграду Петровичу» попить крови из ломоносовских фарфоровых сервизов, закусить пирогом с человечинкой... Двенадцать не имеющих аналогов убийц-гигантов, которые разнесли бы в щепки весь блокадный Ленинград!

В лесах Белоруссии кумушек из Парижа встретил генерал Матвей. И сбросил их всей дюжиной с моста в глубоководном месте. Парочкой тропиловых зарядов — утопил так, что поднять нет уже никакой возможности: их вес превышал все ресурсы современной им подъёмной техники...

Двумя шурфами в двух опорах Матвей Безымянных спас многомиллионный город, колыбель русской революции. Конечно, состав с «толстушками» хорошо охраняли, был жестокий бой, в этом бою Безымянных тяжело ранили. Потом погрузили в самолёт и из партизанского края перебросили в глубокий тыл, на лечение, где его ждёт со скальпелем кровник Левон Глыбян...

Конечно, в жизни таких совпадений не бывает, и генерал Матвей не попал к доктору Левону. Да и не мог — они вообще проходили по разным ведомствам. Но, мысля теоретически, — если бы попал?

* * *

Да, если, чисто теоретически, предположить, как в романах пишут — что действительно, судьба свела бы старого убийцу с его старой (физически ещё не старой, но биографически старой) жертвой? Как поступил бы Глыбян со скальпелем над распростёртым и беспомощным телом Матвея? Кровная месть — дело чести, и слабаков она покрывает несмываемым позором... Но не станет ли покушение на старого врага покушением на целый Ленинград? Не появилась ли парадоксальным образом у Левона и Матвея некая революционная общность рока, снимающая все персональные судьбы, все индивидуальные повороты и личные счёты?

Уже в 1943 году Глыбян, сказать по совести, — этого не знал. Как не смог понять и позже. Человеку хочется видеть в герое героя, и только героя. Как тому военкору, который расписывал «лучшие чекистские традиции» человека, сбросившего двенадцать «толстух» с моста... Гнусные подробности судьбы Матвея Безымянных, и сына, и жертвы революционного угара, не только не пропустила бы военная цензура, но и военкор сам о них не захотел бы писать. Мы стремимся видеть в недостатках героя или клевету, или нечто незначительное, простительное, мелкое. Например, сетуем — «герой-то он герой, но курит как паровоз, что поделать, он же тоже человек, у него свои слабости»...

То, что знал о Матвее Глыбян, нельзя назвать «слабостями». И уж тем более — «простительными слабостями».

Но — по совести, по окончательному расчёту правды жизни — разве смог бы Глыбян с его доброй улыбкой, овечьими кроткими глазами навывкате, с его тонкими пальцами терапевта убедить тевтонского рыцаря, что нападение на Россию было ошибкой? Разве под силу таким, как Глыбян, расшвырять, словно в пьяной драке, мощную охрану прошедшего всю Европу военного эшелона? И утопить двенадцать орудий, чьи снаряды звались «убийцами кварталов»? Да, Глыбян хороший врач и знает, умеет кое-что, чего не умеет Матвей Безымянных. Но ведь нужно признать и обратное: генерал Матвей знает и умеет многое, что совершенно недоступно Глыбяну!

Мы хотим мощной струёй моющих средств пропаганды отмыть героев от всего, что в них не геройского, мы хотим представить их чистенькими, во всём такими же, какими они показали себя в подвиге. Но жизнь — не отдел агитпропа, красного или белого. И в жизни очень часто достоинство человека выступает продолжением его же порока.

А у беспорочных частенько нет, заодно уж, и никаких достоинств: они, никого не убив и даже не обидев, со слезами делают «толстухи Доры» во Франции, чтобы Гитлер смог взять Ленинград, а потом с теми же слезами встают на край рва, уготованного для «расово-неполноценных»... И до последнего гордятся, что умыли руки от всех мирских беззаконий и никого не убили... Как будто в банальной

лени и трусости недеяния есть какое-то собственное достоинство...

У Левона Глыбяна был огромный личный счёт как ко всей большевистской революции, так и лично к Матвею Безымянных. Но он вырос в детдоме, среди пролетарских сирот, и там имел мудрость ознакомиться с другими счётами других семей. Он знал многое. Знал и то, что советский юноша растёт в осознании сверхзначимости собственной личности и поневоле переносит эту сверхзначимость на других людей. Мол, как же так? Человек же, целая Вселенная, а его взяли, да и шлёпнули, как комара!

Советский юноша не понимает, что сверхзначимость человеческой жизни — сверхновая аберрация, инверсия сознания и что тысячелетиями значим был титул, статус, но вовсе не биологический человек, на которого всегда и всем было наплевать. На его всхлипах писатели сентиментального жанра иногда делали себе гонорары — но не более того. Человек без титула и денег не виден от земли. Его и давили, и калечили не глядя. И смотреть у большевиков нужно не на старое как мир смертоубийство, в котором всё равно ничего нового историк не разглядит, а на нечто новое, небывалое, нечто чуждое зоологическому доминированию прежних эпох. Звери всегда грызли за власть в стае и всегда грызли друг друга. И в первый раз это попытались остановить! В этом невидаль! А вовсе не в том, что кто-то кого-то опять и снова убил!

Всего этого Глыбян не стал рассказывать молодому Нахалкову, и не хотел, и не мог в семидесятые-то годы, да и Миша Нахалков большей части этих стариковских суждений не сумел бы понять.

Поэтому он опустил многие подробности, живо вставшие в памяти. Лишь посетовал: могу забыть, что ел на завтрак, но события полувековой давности фотографически точно помню! А после этого стандартного старческого брюзжания — одной фразой передал свой завет молодому поколению:

— Нет никаких отдельно взятых ужасов большевизма — есть общий ужас природы и ужас отдельно взятой человеческой природы! А вот за кровавой вакханалией революции надобно разглядеть цель остановить вечную кровавую вакханалию человеческой судьбы! Для этого нужен особый взгляд, такие глаза, которые солёными слезами пуд соли выплакали, иначе в упор не разглядишь правду жизни... У нас нянчатся с маленьким человеком, спрашивают — кем бы он хотел стать, когда вырастет, где хотел бы работать, чем заниматься. Но ведь в старом мире или даже на современном Западе, хоть современный Запад и учёл многие уроки нашей революции, никто не даёт человеку выбора. Выбор занятий — привилегия высшей аристократии. Остальные берут, что дадут, и благодарят, что хоть что-то дали. Потому что могли, и запросто, не дать вообще ничего: «вы — лишний!»

* * *

Как ни странно, это кинорежиссёр Нахалков прекрасно понимал. И охотно поддакнул изумлён-

ному старому доктору, всю жизнь разгадывавшему сложный красно-белый ребус бытия.

Первая роль будущего киноэтра была в фильме 1964 года, фильме ни о чём под названием «Иду в награду по Ленинграду». Там ещё популярная песня впервые прозвучала:

Я по Питеру еду в свитере,
Долететь могу до Юпитера...

Чтобы сын знаменитых отца и брата получил там свою первую роль, выгнали со съёмок какого-то паренька, ранее отобранного маститым и матёрым режиссёром Зурабом Удаления, тем самым, над которым смеялись за фамилию. Говорили, что у него есть в Грузии двоюродный брат Зураб Приближения. Человеком Удаления был неплохим, но, как и все творческие люди, поднявшиеся высоко, — хитрым.

— Художник должен быть голодным — или хитрым, — говорил он молодым кинематографистам.

Роль, по правде сказать, Мике не очень нравилась. В глубине души, всегда отзывчивой на фальшь, Нахалков соглашался с седовласыми партийными кураторами киностудии. А они ворчали: непонятно, мол, о чем фильм?

— О хороших людях! — бодро отвечал Удаления.

— Этого мало, — уговаривали его скромные партийцы, которые могли бы не уговаривать, а кулаком по столу треснуть. Но терялись серыми деревенскими провинциалами перед именитым человеком искусства. — Нужен эпизод, который уточнял бы смысл.

Потом Мика Нахалков узнал, что Зураб Удаления его — сына Самого, перед которым почтительно, на две створки, открывают двери вахтёр Союза писателей и все швейцары столичных ресторанов, — мелочно обобрал! Оказывается (это всплыло, когда съёмки уже были в разгаре) — все взрослые актёры, даже второго плана, получали по двадцать пять рублей за съёмочный день, а новичку позднепионерской-раннекомсомольской внешности начисляли всего восемь!

Мика отказался сниматься. Тогда Удаления продемонстрировал клыкки предпринимателя. Он громко попросил смазливенькую ассистентку вызвать дублёра, который участвовал на завидных пробах до Мики. Нахалков-младший очень разволновался. Он не понимал, как можно совместить новое лицо с уже отснятым материалом...

— А это не твоё дело! — грубовато отшил Удаления. — Ты вот от восьми рублей нос воротить, а знаешь, что за рубежом тысячи молодых актёров соглашаются на первую роль бесплатно, лишь бы в команду попасть? И большинство из них всё равно никогда не попадут! В Голливуде платят большие взятки, отдают всё, что скопили за жизнь, — чтобы только соблаговолили поснимать! А те, кому платят огромные гонорары, — их единицы. Это только у нас платят тем, кто снимает фильмы, ставит спектакли, публикует книги... А в Америке платить, наоборот, должны они, и много: чтобы пустили сделать и чтобы хоть кто-

нибудь пришёл поинтересоваться готовым продуктом! А знаешь почему, Мика, — мальчик, которому платят восемь рублей в день и который не стоит даже рубля? Да потому, что там всем на всех наплевать!

Тогда мир юного Нахалкова сломался впервые. Талантливый юноша думал, что искусство интересно всем, так и было в его стране. Но человек, достойный доверия, поведал ему, что на самом деле искусство и люди искусства не интересны никому... Кроме самих себя и тех, кто в них деньги вкладывает...

— Эту правду я боюсь говорить современным людям, — сетовал Глыбян, выслушав сокращённую версию общения Мики с Удаления. — Современные юноши слишком избалованы, чтобы понять разницу между «говном с выходом» и говном безысходным.

И задумчиво предвидел, предлагая жестом разнообразные десерты:

— Узрев подлинные картины революции и Гражданской войны, они махнут рукой и скажут, что дрянью были все — и монархисты, и коммунисты. Вот этого страшусь! Одновременное отрицание и красных, и белых является самой худшей и самой страшной формой психического состояния человека, потому что в таком неразборчивом и якобы высокоморальном отрицании всех убийц, всех палачей без сортировки человек отрекается от жизни, от реальности, от всего подлинного в человеке. И превращается в слабоумного кукольника с умом младенца, и живёт не в настоящем мире, а среди им же выдуманных кукол, по им придуманным правилам игры, к которым реальность совершенно равнодушна. Даже если мы предположим какое-то развитие внутри капитализма — хотя развитие ему не свойственно, — всё это развитие сведётся к новым гектарам фекального разлива. Всё, что теоретически могло бы жизнь облегчить, а душу сделать более весомой, — на рынке превращается в новое орудие физического или духовного убийства человека. Новые станки, новое оборудование ведут лишь к тому, что миллионы работников, ставших ненужными, вымирают в страшных муках. А новые средства информации, которые могли бы служить делу образования, духовного развития людей — в условиях купли-продажи и найма вырождаются в инструменты деградации, оглушения человека, сводят его с ума, духовно калечат...

— В силу моей особой, сложной судьбы, — откровенничал Глыбян, — я смолodu понимал советскую власть как тюрьму и застенки. Взрослея, я лучше понимал и капитализм тоже. И потребовалось как-то совместить моё представление о большевизме как тюрьме и застенке с моим же представлением о капитализме как о погребении человека заживо.

Вот тут-то, сопоставляя, я и понял всё! Видите ли, Михаил Сергеевич, какое дело: чтобы понять жуть застенки, порой достаточно нескольких секунд пребывания в нём. Там очень яркие впечатления! А чтобы понять ужас погребённого заживо, нужно длительное время. Там краски тусклы, да и нет никаких красок... Вообразите, что вы закопаны в гробу, но

воздух откуда-то поступает, и вы не задыхаетесь. В первый час, после застенка, вам даже хорошо! Темно, тесно, глухо, но... Проходит час — и вы не видите ничего страшного. Потом проходит день, другой... Вас никто не видит и не слышит. Вы пребываете в небытии — но чувственном небытии, без обморока, вы ощущаете и себя, и стенки гроба... И ничего не происходит, снова и снова ничего... На какой-то из дней вы начинаете скрести ногтями крышку гроба и кричите, что согласны вернуться в застенки, согласны даже быть расстрелянными, лишь бы вас вытащили отсюда! И вот в какой-то момент некто Ленин открыл вдруг крышку этого гроба. Я не идеализирую Ленина и не знаю до конца его мотивов... Но факт есть факт: заживо погребённый выскочил на свет, в мир. А теперь представьте, каким он выскочил! Это же не весёлый, румяный школьник, который бежит по звонку на перемену! Выскочил из вечной тьмы и неслышимости человек помешанный, обезумленный, и действия его, особенно первые, — будут очень далеки от холодного, трезвого и благополучного ума. Мы с вами легко отличим адмирала Колчака от курсистки-гимназистки, а он — далеко не факт, что отличит.

Главная двигательная сила этого безумца — страх попасть обратно в свой гроб, где он пролежал, бесильный до кого-нибудь докричаться, много лет. Эксплуатируя этот страх, его легко толкнуть на любую жестокость, любое зверство. Достаточно лишь шепнуть, что некто хочет его погresti обратно, — и он не станет проверять: порвёт в ключья. Для человека, очень сильно напуганного, не существует презумпции невиновности. Наоборот, у того, кто во власти всеобъемлющего страха, — есть презумпция виновности всех окружающих. Ведь, когда он лежал в гробу и кричал, его не слышал никто. Значит, и виноваты все — так ему представляется в угаре и перевозбуждении. Исключение он делает только для Ленина, который услышал и откопал: отсюда зашкаливающий, похожий на одержимость, истерический ленинизм первых лет революции. Никого, кроме Ленина и ленинцев, этот безумец слушаться не хочет, он знает только две вещи: что нет ничего хуже, чем погребение заживо, и что откопала его партия Ленина. Так джинн, проведший столетия в кувшине, подчиняется любому освободителю, какой бы мрачный тип ни открыл его кувшин!

Нам, современным людям, этот истерический ленинизм не только непонятен, но и неприятен. Мы видим его патологические стороны, мы видим в нём заикленность и нищету духа, примитивное чёрно-белое мышление. Но мы не вправе судить — потому что мы не отлежали столько лет заживо погребёнными, как эти люди. У них свой внутренний мир, очень мрачный, но адекватный их судьбе и положению.

Они жили в буржуазном обществе, в котором от них ничего не зависит, в котором их презирали ниже уровня земной поверхности, в котором их закапывали в грунт и забывали там закопанными, в котором на них охотились, как на лесную дичь. И не только отстреливая ружьями карателей, но и улавливая в

капканы кредита, в силки банкротств, отравляя их сивушными, опиумными ядами и зловонными газами декаданса... Они привыкли быть мышью, которая прячется от лисы в землю, а от земли в лису. И когда у этих, повторюсь, помешанных от условий жизни людей появился шанс вырваться — они уже не боялись ничего на свете, кроме потери этого шанса.

Я говорю не только о голоде — хотя и он тоже нешуточная штука. Погребённым заживо можно быть и сытым. Ежедневная миска похлёбки в подземелье не сократит, а лишь продлит твои мучения заживо похороненного. Если ты замурован в темноте четырёх стен и уже осознал полную безысходность своего положения, то регулярно выдаваемая миска похлёбки не взбодрит твоего духа. Те, кто лучше других понимал происходящее, говорили: ну ведь нужно же когда-то покончить с тысячелетиями этой тяготины, оскорбляющей разум в человеке, существе якобы разумном, но живущем по законам безмозглого зверья! Так или иначе, с тем или иным количеством жертв, разрушений — но выйти из этого подземелья, в котором всё равно нечего ждать, потому что столетиями ждали и ничего не дождались!..

* * *

— Коммунистам хочется изобразить дело так, что пришли они — и раздали хлеб всем голодным. Но это им так хочется! — Старик интонационно надавил на слово «им», озвучив его почти презрительно. — Голод, терзавший человечество тысячелетиями, не был заговором кучки злодеев. Он проистекал из самого устройства старой экономики, которая просто не могла, не умела произвести хлеба достаточно для всех! Если бы этот хлеб был в наличии, вы думаете, царь не раздал бы его своим мужичкам-богоносцам? Его просто не было, понимаете! А чтобы он появился, нужно было построить экономику совершенно нового типа, в саму возможность которой тогда не все верили. Царь, например, не верил. Он наивно думал, что не он мужиков кормит, а мужики его... Чтобы построить новую экономику — нужны ресурсы, а откуда их взять? У тех, кто и без того живёт впроголодь! Больше-то не у кого... Да, потом хлеб появится для всех и каждого, и голод тридцатых годов в США, унесший более семи миллионов жизней метлой «Великой депрессии», станет последним в истории этой страны... Но в начале двадцатого века попросту нет такой экономики, которая кормила бы всех! Есть люди, которые в неё верят, и есть люди, которые смеются над ними. Но и те, и другие — вышли из мира, лишённого самого понятия о преступлении.

— Ну это... чересчур! — растерялся Нахалков. Не то, чтобы он, по мелочи форсящий, почитывавший самиздат и тамиздат, был большим поклонником буржуазной демократии, но отрицать само понятие преступления в буржуазном праве? Старик заговаривается...

— Нет, — резал Глыбян правду-матку. — При отсутствии распределительной нормы понятия о пре-

ступлении не может существовать. Кто кому и сколько должен — люди решают в драке. Собственность с мясом вырывается друг у друга, а потом удерживается зубами и дыбами. У вас что-то украли? А откуда у вас появилось то, что у вас украли? Не было ли оно само таким же образом украдено?!

Он задумался на целую минуту, сложив длинные, уже пересыхающие от возраста пальцы с жёлтыми ногтями перед собой на столе. Жест был и бессильным, и одновременно энергичным. Нахалков, как мастер крупных планов в кино, — оценил...

— Вот мы с вами мило беседуем — но ведь не в пустоте! И стол, за которым мы сидим, и то, что на столе, и стены квартиры вокруг — они же не сами по себе возникли! Мы можем себе позволить роскошь беседы на отвлечённые и сложные темы — это именно роскошь, которой многие лишены. В наших представлениях о добре есть большой подвох...

— Подвох?! — забеспокоился Нахалков.

— И подвох в них вот какой: правила личной святости придуманы для бесплотных ангелов. Ну, для таких, у которых совсем нет никаких «матерьяльных» потребностей! Принимая их, ты первым делом говоришь: я согласен на самую тесную квартирку, на самый скромный ужин — лишь бы никого не обидеть! А знаешь, что тебе ответят? «Извини, дружок, но и тесная квартирка денег стоит, и простенькая пища не бесплатна! А нам деньги нужны, так что отдавай нам ВСЁ! Вот просто всё, что у тебя есть, до последнего грошика! Потому что копейка рубль бережёт и в нашем кошельке лишней не будет... А хочешь забрать обратно — сперва приди и убей нас!» И у тебя заберут всё. Вообще всё. Не побрезгуют ни теснотой твоей квартирki, ни простотой твоих кушаний. И вот дальше вопрос: что ты будешь делать? Возмутишься? Заорёшь: «Да сколько же можно меня обделять?!» Тогда добро пожаловать в революцию, сынок. Или смиришься, во имя чистых рук, во имя ненасилия — скажешь, хоть меня кругом и обобрали, всё равно никого убивать не стану! Тогда добро пожаловать в могилу.

— Но неужели нельзя жить тихо, просто, в стороне? Ни барин, ни попрошайкой, ни жертвой, ни палачом? Почему вы кидаетесь в крайности?

— Вы думаете, что вас оставят в покое? — насмешничал Глыбян, думая про себя, что именитый и амбициозный режиссёр живёт совсем не тихо и не просто и уж тем более не в стороне. — Вас оставят в покое, когда у вас ничего не будет — но тогда вы и сами не сможете быть. А пока у вас что-то есть, всегда будут и те, которые хотят это отобрать... Совсем без ничего человек выжить не может — а отбирают ведь всё подчистую. Даже если не всё сразу — то потом вернется. Аппетит приходит во время еды! Коли повадился волк в овчарню, так не успокоится, пока последней овцы не утащит...

Он помолчал, перекусил, «чем Бог послал» — а точнее, что дала ему революция:

— У нас учат любить революцию, но это извращение. Всё равно, что уговаривать палача любить свою

работу. Всякая революция омерзительна, как омерзительна казнь преступника, она омерзительно выглядит и омерзительно протекает. Не нужно любить коммунизм — он не баба, чтобы его любить. Нужно только понять его необходимость — как средства от поноса, от гнойных язв, как клещи зубного врача, как нож мясника, как работа расстрельной команды. Все эти вещи не нужно любить и даже разрешается ненавидеть — но они просто незаменимы в быту и без них никак не обойтись. Для того чтобы возникло общество интеллигентов, болтающих на интересные им темы, нужно сперва, чтобы никто не бил их в морду кастетом за каждое слово. А в старом мире, до революции, это было «как здравые сказать».

4

Темная река времени все дальше уносит те годы, в которые, бывало, пригородный дом Виталика Совенко подавлял гостей размерами и холодным величием. А красотой этот дом никогда не блистал... Менялись эпохи, и дача затерялась, затерлась среди новых, шикарных особняков нуворишей, как бы съезжилась под взглядами их заносчивых окон.

— Что касается эпох, — шутил про это Алик, — то они делятся на плохие, плохие и плохие. Кому-то лично удалось в плохое время неплохо устроиться — это погоды не делает. Хорошее только здесь. — Он постучал по лбу скрюченным пальцем. — Здесь Ноосфера, которая должна сменить Биосферу... И пока этого не случилось — мы в пустыне по дороге к земле обетованной...

Странные слова — которых никто не понимал. Да полно, понимал ли он их сам или просто цитировал занозой застрявшего в голове профессора Глыбяна?

Это сейчас удобно расположенное Порхово стало «деревней миллионеров», и когда-то господствовавший над избами и угодьями совхоза особняк просел в землю, стусевался.

Но в далеких пятидесятых и шестидесятых годах нувориши ещё не строились, а иные — и не родились. Поэтому юный Алик, третье поколение хозяев дачи, по праву именовал её с претензией — Угрюмхоллом. Так её прозвали друзья, а они знали толк в дизайне и архитектуре...

Дом этот был выстроен в самом начале XX века великим знатоком чернокнижия и магии, царским советником «досточтимым Папюсом». Выстроен, как его дача под ситцевой Москвой, многих удивив: ведь Папюс квартировал в формалиновой кунсткамере Петербурга! Маг объяснял, зачем ему тут дом, но как-то непонятно:

— На Неве веры не осталось... А мне струя нужна... Вера создаёт; безверие только растаскивает...

И вроде бы ясно, что он имеет в виду: оно бесплодно, безверие, во всём, кроме разрушения! И нет такой стороны жизни, которую нельзя было бы разрушить безверием... Но при чём тут Москва и дача под Москвой? Тут он и бывал-то лишь четыре-пять раз, наездами, наскоками...